

УДК [164.02 + 81:1 + 316.74:81] : 61

М.Б. Мусохранова

ЯЗЫК МЕДИЦИНЫ: ОТ ЗНАКА К ЛЕТОПИСИ

Предпринимается попытка приблизиться к сути языка медицины, в основе которого лежит знак, сообщающий о присутствии болезни в жизни человека, с которой начинается познание человека и лекарственных средств природного мира. Рассматривая язык медицины в качестве объекта, выделяется его основополагающее свойство, представленное в виде терминогенеза. Терминогенез выступает в качестве хронологической летописи медицины, составленной в разные исторические эпохи многочисленными поколениями врачей.

Ключевые слова: объект, язык медицины, терминогенез.

С позиции лингвистики язык медицины определяется как система анатомических, клинических и фармацевтических терминов. Но это определение носит поверхностный характер, констатирующий, что данной области знания присущ свой язык, но к сути этого языка оно не приближается. Объяснением этому, возможно, является его разноплановость на невербальном уровне человеческого организма, болезни и природного мира, которая имеет единую основу, существующую в форме знаков, чувственно воспринимаемых врачом. Слово «знак» восходит к индоевропейскому корню *ĝen-* «знать», «рождать(ся)». От этого корня произошли греческое *gnosis* и *genesis*. Кроме того, корень *ĝen-* послужил основой для наименования частей тела (*gena* «щека»; *genos* «подбородок, щека, челюсть (нижняя)», *gnathos* «челюсть (верхняя)», *genitalia* «детородные органы»). Например, слово *genu* «колени» выступает в двух значениях: 1) родственные связи «род»; 2) часть тела – «колени». Этимологическая связь между индоевропейскими *ĝen* «род» и *ĝen* «колени» обусловлена сравнением родственных связей со связями, существующими между частями тела. О.Н. Трубачев объясняет развитие значения «быть родственным, единокровным [человеку]» к «знать [человека]» тем фактом, что индоевропейский язык не имел единого абстрактного термина «знать», а восходил к специальным конкретным обозначениям. «Такое положение вполне соответствует материалистическому закону познания в простейшей форме: от состояния (*ĝen-* «быть в родстве») или ощущения (*ceid* «видеть [вещь]») – к знанию, представлению». При этом слово «знать» оказывается связанным с древнейшим понятием родства, родового строя. Схематично историю индоевропейских терминов «рождать» и «знать» он представил следующим образом: *ĝen-I* «рождать(ся), быть родственным» → *ĝen-II* «знать [человека]»; *ceid* «видеть» → *ceid* «знать [вещь]» [1. С. 154–157]. Итак, два действия «рождать» и «видеть» приводят к знанию. Рожать, по В. Далю, в физическом аспекте означает производить себе подобных, размножаться, плодиться; в психологическом – указывает на персональный характер «рождаемого» знания. Следовательно, обозначенное термином рождает знание об обозначаемом у конкретного человека [2. Т. 3. С. 451]. У него же отмечены значения глагола «видеть», которые передают физический и интеллектуальный характер этого

действия, сопровождающегося личностными переживаниями увиденного [2. Т. 1. С. 218–219]. В этом случае «видение» становится синонимом «распознавания» (*diagnosis*), исходящего из того, что: я понимаю, что вижу, т.е. принятие зримого как существующего, отличного от другого; я размышляю над тем, что вижу, т.е. выделение признаков зримого, выступающих в виде конкретных знаков; и я знаю, что вижу, – результат, который получает имя. При этом зрительное восприятие выражается глаголами «смотреть» и «видеть». Но существует смысловая разница между ними, на которую указывают их этимоны: «видеть» в старославянском, готском, древнегреческом и др. обозначает «ведать, знать», то же – в древнеиндийском; «смотреть» – сохранил первоначальное значение из древнерусского и старославянского, которое дополнилось из праславянского определениями «смотрения»: «осторожный» и «ловкий». Раскрытие смысла «смотреть» осуществляется через дополненные значения в диалектах древнегреческого языка: «чувствовать, воспринимать, замечать», «искать, стремиться», «разыскивать» [3. Т. 1. С. 312; Т. 3. С. 692]. В значении «смотреть» приоритетным выступает цель – смотреть с целью ознакомления, и в этом случае следует учитывать ненадежность суждения, основанного лишь на зрительном восприятии: «Мастера не доверяются суждению глаза, так как он всегда обманывает», – писал Леонардо да Винчи. Тогда можно сравнить смысл смотрения с зеркалом, «подражающим в себе всем противопоставленным ему предметам, не обладая знанием их» [4. С. 62]. Глагол «видеть» имеет целью знать то, что есть, о чем свидетельствует след индоевропейского корня *es* «быть, существовать» в составе *genesis*.

Таким образом, в основе языка медицины лежит знак, сообщающий о рождении знания о чем-то. Поскольку медицина имеет дело с болезнями, проявляющимися в теле человека в виде знаков, то именно они являются носителями информации для врача, выполняя коммуникативную невербальную функцию, которая предполагает ответную реакцию со стороны врача. Эта реакция осуществляется в виде вербализации знака посредством, во-первых, распознавания сведений, доступных для понимания и важных для того, кому они адресованы; во-вторых, их осмысления, характеризующегося вплетением в языковую ткань мысли чувственных образов; в-третьих, узнавания болезни и закрепления полученных знаний о ней в клиническом термине, которое в свою очередь выступает как мыслительный инструмент врача. В этом качестве слово-термин входит в язык медицины как целое и законченное, формируя ее словарь, который включает также анатомические термины, содержащие знание о строении организма, продуцированные необходимостью установить место локализации болезни. Исцеление организма сделало необходимым изучение растительного, животного мира и мира минералов, которые предложили человеку целый комплекс лекарственных средств, вошедших в виде фармацевтических терминов в словарь языка медицины.

Особенностью языка медицины является его отличие от любого другого языка в том, что на нем не говорят, хотя он определяет специфику врачебной речи, делая ее понятной для медиков тех стран, которые приняли греко-римскую модель медицины и, следовательно, ее терминологию. Им врач мыслит и фиксирует знания, касающиеся строения человеческого тела, болезни, способов и средств восстановления целостности человека. Но суть

языка медицины до сих пор остается скрытой, что обусловило выделение его в качестве объекта исследования, исходя из которого определяется основополагающее свойство этого языка, его предмет – терминогенез. С его помощью появляется возможность хотя бы приблизиться к сути языка медицины, его предназначению.

Выделяя язык медицины в качестве объекта нашего исследования, мы рассматриваем его как особенную форму репрезентации человека и мира, что позволяет рассматривать язык медицины как выражение того, что есть в человеческой жизни.

Начнем с латинского существительного *objectus*, которое означает: «1) противопоставление; 2) преграда; 3) предмет, явление, зрелище» [5. С. 523]. Первое значение делает акцент на особенности, отличающей язык медицины от общеупотребительного языка. Эта особенность исходит из древних традиций, в которых существовал сакральный язык, ставший прообразом современной медицинской терминологии. Поскольку он формировался в недрах жреческого сословия, которое было самой образованной частью общества, что предполагало посвящение в знания (прообраз современного высшего медицинского образования), то для «внешних» людей сакральный язык представлял совокупность формализованных обращений к божествам в виде заклиний, заговоров и молитв, слова которых заучивались, но их смысл был скрыт для непосвященных, как и значение имени божества. Из противопоставления сакрального языка профанному вытекает второе значение *objectus*, которое, как преграда, делает недоступным понимание смысла медицинских терминов без специальной подготовки, с учетом того, что они происходят в большинстве своем из греко-латинского лексического фонда. Третье значение указывает на некое явление, зрелище, что в контексте первых двух можно объяснить словами М. Хайдеггера: «В самой речи являлась близость божества. Речь допускала в себе сказаться тому, на что взор говорящих был направлен, потому что прежде того оно уже озарило их». То есть в сакральном слове ощущалось присутствие божества, что наделяло слово властью, которая «вспыхивает как у-словление веществования вещи. Слово начинает светиться как то собрание, которое вводит присутствующее в его присутствие. Старейшее слово для так осмысленной власти слова, для речи, называется Λόγος: Сказ, который, показывая, дает существу явиться в свое *это есть*» [6. С. 419, 432].

Таким образом, исходное *objectus* подчеркивает выделенность языка медицины, противопоставляя его общеупотребительному языку, носители которого далеко не всегда задумываются над смыслом употребляемых ими слов, тогда как язык медицины требует посвящения, глубокого погружения в сверхчувственный мир, в котором сила мысли повторяет древнее рождение вещи в слове, связующем прошлое с настоящим. Выделенность языка медицины является условием образования его в замкнутую систему, основанную на греко-латинском лексическом фонде. Если ее рассматривать с лингвистической позиции, фокусирующейся на формально-грамматическом аспекте терминов как одной единице изучения, то эта система представляет нечто поверхностное, тогда как при противопоставлении ее общеупотребительному языку обнаруживается их глубокое единство: во-первых, на уровне врачеб-

ной коммуникации, осуществляемой в пространстве и во времени посредством слов-терминов; во-вторых, на уровне генезиса терминов, этимология которых связана, по словам М. Хайдеггера, с «сущностными отношениями того, что неразвернутым образом именуют слова́ словаря как слова́ мысли» [Там же. С. 446]. Оба уровня взаимосвязаны посредством слова «есть», которое, по Л. Витгенштейну, является связкой, знаком равенства и выражением существования того, что именуется словом [7. С. 64].

Это касается самого слова *objectus*, которое, например, в нашем исследовании, сообщает о существовании языка медицины, репрезентирующего человека в мире как *Homo patiens* и мира в виде символов, мифов, метафор, тождеств и аналогий, на основе которых сформировалась система анатомических, клинических и фармацевтических терминов. Посредством этих терминов происходит посвящение в медицину, открывающее ее как многовековую мудрость, результирующую познание действительности в порядке осмысления отношений между человеком и того, что есть и что выражено в языке медицины, который целесообразно рассматривать как выражение жизни. Эта мудрость не основана на теориях о добре и зле; она получена в результате встречи со злом лицом к лицу, проявляющемся в человеке в виде болезни. Потому этимология медицинских терминов, вошедших в язык медицины из общеупотребительного языка древних культур, сообщает о «сущностных отношениях» человека с тем, что именуется болезнью. Поэтому в данной статье мы остановимся на клинических терминах, выражающих состояния *Homo patiens*.

Например, Авиценна в «Каноне врачебной науки» использовал термин «сакта» для обозначения состояния «утраты органами способности к ощущению и движению вследствие сильной закупорки, возникающей в желудочках мозга и в проходах ощущающей и движущей пневмы» [8. С. 350]. Слово «сакта» переводчиками было вынесено в «Словарь непереведенных слов» данного издания с подобранным к нему эквивалентом – «апоплексический удар» [Там же. С. 767]. Это слово было использовано Авиценной для передачи понятия силы śakti, заключающей ведическую идею божественной созидательности, выраженную в имени богини Шакти (Śakti) – Матери Вед и Миров, проявляющейся как имя и форма, которые и есть Вселенная. Учитывая, что названия болезней в ранних культурах были связаны с именами различных божеств, то термин «сакта» в древнеиндийской мудрости служил для обозначения состояния, причина которого коренилась в гневе Шакти, вызванном мыслями или словами человека, нарушающими гармоничное течение жизни [9]. В этом смысле термин «сакта» был использован Авиценной, который воспринял суфийское отношение к духу-слову, как божественному семени в духе человека, выраженном как «Я – творческая сила». Но только положительный смысл созидания у него утрачивается, сохраняя идею творящего зла, разрушающего здоровье человека. Попробуем соотнести употребляемое Авиценной «сакта» с предложенным эквивалентом «апоплексический удар», основываясь на этимологии последнего. С древнегреческого языка слово *apoplexia* И.Х. Дворецким переводится как «паралич» («расслабление; нарушение») с указанием на Аристотеля и Плутарха [10. Т. 1. С. 212]. Но Авиценна, знакомый с трудами Аристотеля, а также использовавший в своем

труде галеновские и гиппократовские описания болезненных состояний, все же делает различие между сактой и параличом, «которым она разрешается в большинстве случаев». Следовательно, сакта у него – метафизическая причина апоплексического удара. Для выяснения значения «апоплексический» обратимся к родственным словам, приведенным И.Х. Дворецким: *apoplectos* («разбитый параличом; отупевший, тупоумный, слабоумный») и *apoplecticus* («разбитый параличом»). В последнем слове он приводит равнозначное ему *nosemata*, причем во множественном числе, что указывало на повторяемость событий во времени или многообразии проявлений качества, означающего в единственном числе (*nosema*): «болезнь; порок, зло; бедствие, несчастье». Само слово *apoplexia* выражает результат повторяющегося зла, творимого «слабоумным» человеком, наносящего ему поражающий удар, в результате которого происходит «расслабление» физического тела. То есть термин *apoplexia* фиксирует качественное состояние человека как следствие нарушения им гармоничного течения жизни.

Учитывая, что практически каждый клинический термин, выражающий патологическое состояние человека, связан с духовным наследием древних культур, то обращение к нему позволит восстановить утраченную связь с прошлым человечества, которое обусловило настоящее. Прошлое переделать нельзя, его можно зачеркнуть, забыть, придумать, но оно свидетельствует о себе в слове, ставшем медицинским термином, который является «связкой» между прошлым и настоящим, своеобразным прогнозом будущего. Термин недвусмысленно описывает реальность, обращаясь к определенной аудитории – врачам, которые представляют верховную власть в медицинском сообществе, организованном по иерархическому принципу: врач→фельдшер→медсестра→санитар(ка). Прообразом его была организация жреческого сословия, во главе которого стоял верховный жрец. Он представлял духовную власть в обществе, которой подчинялись цари, нередко происходившие из жреческого сословия. Исходя из этого, можно сказать, что врачи представляют духовную власть в современном обществе, поскольку только врачу, по словам М. Sendrail, который каждый день, лицом к лицу выступает против болезни, врачу, который больше чем кто-либо другой, познал в собственной жизни человеческое горе, доступно исследование неизмеримых тайн, связанных с человеческой судьбой, одновременно выдающейся и несчастной [11. Р. 197].

Таким образом, понимая язык медицины как особенную форму репрезентации человека и мира, мы учитываем ее противопоставленность другим видам человеческой деятельности, выделяющую ее тем, что она имеет сакральный характер, связанный с сохранением жизни человека, а потому противостоящий смерти и сопутствующим ей боли и болезни. У М. Хайдеггера смерть – это ковчег Ничто, который хранит в себе существенность бытия. Ничто – это нечто запредельное, то, что находится за пределами жизни, но своим присутствием наполняет человеческую жизнь осознанием смысла своего бытия в мире [6. С. 448]. Франсуа Миттеран, бывший президент Франции, столкнувшийся с неизлечимой болезнью, в предисловии к книге *Marie de Hennezel «La mort intime»* написал: «Мы живем в мире, который сама мысль о смерти ужасает, заставляя от нее отвернуться. Цивилизации, жившие до нас,

смотрели смерти в лицо, описывая для общества и для каждого человека путь к этому переходу. Они придавали особый смысл и богатство факту завершенности судьбы. Наверное, никогда отношение к смерти не было настолько скудным, как в наше время духовной черствости, когда люди, спешащие жить, пытаются уклониться от этой тайны. Игнорируя ее, они истощают тем самым основной источник вкуса жизни». Смерть прячут, как если бы она была чем-то постыдным и грязным, пишет известный клинический психолог *Marie de Hennezel*. «В ней видят только ужас, нелепость, бессмысленное и мучительное страдание, невыносимый позор, хотя она является кульминационным моментом нашей жизни, ее коронованным завершением, что сообщает каждой жизни ее смысл и ее ценность. От такого отношения смерть не перестает быть неизмеримой тайной, большим вопросительным знаком, который мы носим в самой сокровенной глубине себя самих» [12. Р. 9, 13]. Перед лицом смерти с ее спутниками рассыпаются теории, оставляя человека наедине с ней. Это противостояние человека и смерти выражено древнегреческим *agonia*: «бой, битва; борьба; спор; душевная борьба, тревога, смятение, тоска» [10. Т. 1. С. 30]. Так, умирая в полном сознании, Авиценна, написавший многочисленные сочинения по философии, создавший уникальный по своей практической значимости «Канон врачебной науки», подвел итог своей жизни: «Мы умираем и с собою уносим лишь одно – сознание того, что мы ничего не узнали» (цит. по [13. С. 32]).

Реальный факт бытия в мире смерти, боли, болезни говорит за себя языком, который по существу своему историчен. Этот язык выводит человеческую жизнь, выражаясь словами В.В. Библихина, «за рамки голой биологии, открывая ее для биографии (истории)» [6. С. 595]. Разворачиваясь, человеческая биография предстает как история боли, страдания, болезни, выраженная клиническими терминами, что позволяет говорить о нашем объекте исследования – языке медицины в аспекте разрушения им «иллюзорности мировой гармонии и индивидуального благополучия». Свидетельством тому являются термины *algos* и *odyne*, которые имеют русский эквивалент – боль. Кроме них, в древнегреческом языке есть еще слова, раскрывающие смысл боли, которые были рассмотрены Roselyne Rey [14. Р. 16–18].

Боль, именуемая *algos*, проявлялась в страдании, горе, скорби и печали, охватывающих человека, осознающего весь трагизм своей судьбы. В этом контексте она сопоставлялась со злом, терзающим человека подобно дикому зверю. Как номинация психосоциального явления, слово *algos* раскрывалось в мистериях и древнегреческой трагедии, в которых смысловой акцент *algos* делался на телесные муки человека, более конкретные и более грубые, которыми выражались душевные страдания.

Боль, именуемая *penthos*, подчеркивала восприятие ее как несчастья, бедствия, что нашло выражение в траурном ритуале, сопровождаемом выражениями чувств горя, скорби и печали. Ритуализация боли выражена в соединении ее с человеком в виде брачных уз по решению божества, с вытекающими отсюда последствиями, что указывало на сверхъестественный источник боли, именуемой в данном случае *kedos*, что вынуждало обращаться в молитве к божеству.

Achos – обозначало собственно физическую боль как телесное страдание, сопровождающееся эмоциональной концентрацией на нем, продуцирующей неконтролируемые сильные взрывы чувств.

Боль, именуемая *odyne*, выражала совокупность физического и душевного страдания, тяжесть которого иногда соотносилась с родовыми болями. Потому *odyne* обозначало острую, схваткообразную боль, пронизывающую все тело, но четко локализованную; именование боли *odyne*, сопоставляясь с орудиями, которые наносили удары (меч, копье, стрела), пронзая плоть, подчеркивало ее преходящий характер с соответствующими чертами (режущий, острый, тупой, колющий и пр.).

Словом *ponos* именовалась боль в смысле страдания как общего состояния человека, изнуренного тяжелым трудом, заботами, борьбой с болезнью и прочими невзгодами, испытывающего бессилие перед любыми проявлениями зла.

На основании анализа названий боли, проведенного Roselyne Rey, можно заключить, что результаты осмысления боли, вплетенной в жизнь человека в виде болезни, войны, стихийных бедствий выразились в двух направлениях, обозначенных словами *algos* и *odyne*. Первое раскрывалось в триаде *penthos–kedos–achos*, ориентированной на чувственное восприятие и репрезентацию действительности в мистериальных культах и в трагедиях, объяснявших причину боли в социокультурном плане. Второе направление, раскрываясь в диаде *odyne–ponos*, отразило переживание этой действительности в границах собственной жизни. *Algos* передает цельное состояние человека в данный болевой момент его жизни во всех ее проявлениях и взаимосвязях, позволяющий ухватить ту единственную нить, приводящую к выявлению источника страдания, наносящего раны, результатом которых является уже *odyne*.

Боль, ведущая за собой болезни, стала основанием для формирования врачебного сообщества, прототипом которого было жреческое сословие, представленное в Древней Греции асклепиадами. Боль обратила внимание человека на существование зла, перед которым он оказался бессильным. Пытаясь постичь природу зла, человек создавал мистерии, в которых заново переживал ужас трагедии своего существования, поставивший его перед необходимостью решить для себя вопрос жизни перед неотвратимостью смерти, озвученный устами Гамлета: «быть или не быть?». Ответив на него глаголом «иметь», человек подтвердил окончательное слияние с болью, став *Homo patiens*, человеком страдающим.

В современные языки слово «объект» пришло из латинского. Разные авторы называли им «предмет философии» (Oresme, XIV), «цель» (Ronsard, XVI), «предмет учения» (Pascal, XVII), конкретную вещь (Brunot, XVIII) [15. Р. 672]. В.А. Лекторский приводит понимание объекта в философском смысле как «то, на что направлена активность (реальная и познавательная) субъекта» [16. Т. 3. С. 136]. По его мнению, «объект не тождествен объективной реальности; во-первых, та часть последней, которая не вступила в отношение к субъекту, не является объектом; во-вторых, объектами могут быть и состояния сознания». Но тогда встает вопрос, если объект не тождествен объективной реальности, тогда что ей тождественно? По словам Л. Витгенштейна, «вопрос – только там, где существует ответ, а ответ – только там, где что-

нибудь может быть высказано» [7. С. 216]. Понимая высказывание как выраженное в речи «*это есть*», приходим к тождеству слова и вещи. Тождество, по Л. Витгенштейну, возможно там, где есть утверждение, которое основано на знании значения слова и вещи; зная их, «я знаю, означают ли они одно и то же или нечто различное» [Там же. С. 198].

В этом случае речь идет о факте существования вещи, зафиксированном в слове. Причем этот факт, по мнению К.Р. Поппера, не лингвистичен и не является ни немецким, ни английским, хотя высказываются о нем на соответствующем метаязыке, описывающем факт реального мира [17. С. 297]. В нашем контексте факты реального мира выражены медицинскими терминами, пришедшими из древних языков. Тогда совокупность терминов, в которых, по П. Флоренскому, сконцентрирован высший порядок синтетичности реальности [18. С. 179–209], образует язык-объект, т.е. язык медицины. Метаязык, на котором описывается эта реальность, – русский. И.А. Кребель, анализируя в своей монографии взаимозависимость философии и словесности в контексте русского философского текста, обращает внимание на сближение русского языка «по позиции единства слова и действия, по позиции близости слова к его архаической версии» с древними языками. В них единство означаемого и означającego осуществляется на уровне чувствования вещи как тела, которое «есть путь к *архе* мысли» о ней. В этом смысле сама архаика «есть то, что непрестанно *при-сутствует*, остается при сути» мыслимой вещи, высказанной в речи, в которой означаемое сливается с означаемым [19]. Такое слово, став медицинским термином, сообщает, по Г.В. Лейбницу, другим мысли и вводит в познание вещей [20. С. 84].

Следовательно, в отношении языка медицины можно утверждать, что он, как объект исследования, тождествен объективной реальности, представляющей совокупность «множества реальных фактов», которые, в отличие от теорий, не созданы человеком, по мнению К.Р. Поппера, назвавшему себя реалистом [17. С. 309].

Хотя эти факты не созданы человеком, но они им узнаны, осмыслены и однажды названы словом, которое в статусе термина вошло в язык медицины. Отсюда – основополагающее свойство этого языка, которое выступает предметом нашего исследования: терминогенез языка медицины, характеризующийся гомогенностью, гетерохронностью и наследственностью. Гомогенность терминогенеза обусловлена общеупотребительным языком, представленным в симбиозе древнегреческого и латинского; гетерохронность – одновременным появлением медицинских терминов; наследственность выражается в связи с языковым источником знания, представленным этимологией терминов. Рассматривая терминогенез с позиции М. Хайдеггера, его можно назвать сказом о человеке и о мире, составленным врачами, жившими в разные исторические эпохи.

Так, историк медицины М. Sendrail пишет: «Каждая цивилизация посредством своих нравов и обычаев, мировоззренческих принципов создает свою собственную патологию. Согласно типу семейного уклада, полигамного или патриархального, или распущенного, согласно педагогическим институтам, согласно аристократическому или плебейскому, авторитарному или анархическому правлению, согласно строгой или легкомысленной морали, согласно

спокойному или чувственному эмоциональному состоянию, согласно созерцательной или практической философии, согласно соответствующей значимости, которую она признает за телом или духом, согласно смыслу, которым она определяет смерть, общество выбирает болезни, направляя свою патологическую судьбу». Каждый век, по его словам, характеризуется своим патологическим стилем, как и литературным, или декоративным. Так, хронический остеопороз был преобладающим в эпоху палеолита; во времена Гиппократа это были преимущественно болезни циклического типа развития. Средневековье – «эпоха великих коллективных болезней, пандемий, проходящих по нациям как мистическое содрогание ужаса». Ренессанс представляет Европу, захваченную трепонемой, привезенной из Нового Света компаньонами Колумба. В XVII и XVIII вв., когда мастера рисовали или лепили красоты пышных форм, воздвигали грандиозную архитектуру, зажиточные классы становились добычей тучности, апоплексии, ожирения и особенно подагры. Она была названа *morbus dominorum et dominus morborum* (болезнь господ и госпожа болезней) английским врачом *Sydenham*, который был сам поражен ею. Для «этого солнечного человечества... явно пораженного излишками своих нездоровых жидкостей», подходило лечение, направленное на уменьшение жидкостей, кровопускание, клистиры, слабительные, столь дорогие Диафорусам и Пургонам. Напротив, в вычурную эпоху романтизма, когда болезнь способствовала возбуждению чувствительности и проявлению в самой глубине счастья вкуса смерти, на первое место выдвигается туберкулез. Романтизм становится поэтическим выражением чахотки, а чахотка становится естественным термином романтических лихорадок [11. Р. 9–12].

Следовательно, каждая историческая эпоха в лице врачей вносила свой вклад в формирование языка медицины, выдвигая на первый план какую-то одну преобладающую болезнь, которой присваивалось имя, выполняющее, прежде всего, эпистемическую функцию. В качестве примера приведем средневековый термин, обозначающий рвоту каловыми массами: *Miserere mei* «помилуй меня!». Термин был заимствован из псалма 50 латинской Вульгаты: *Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam* «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей» [21. Р. 831]. Этот псалом дает представление осознания человеком всей глубины своего беззакония и греха перед Богом (первоначальное значение славянского *grěxъ* – «жжение совести» [3. Т. 1. Р. 456]), порождающие силу покаяния. Со временем обращения к Богу и раскаяние стали не так уж часты, и термин утратил все функции кроме номинативной, т.е. его полезный эффект был сведен к нулю и его место занял другой – *copremesis: kopros* «испражнения, кал; грязь, мусор; прах» + *emesis* «рвота».

Но в языке медицины есть термины, которые проходят через все исторические эпохи, как, например, чума, интернациональный характер которой заключен в термине *pestis*. В переводе с латинского он означает «зараза, повальная болезнь; дурной запах; гибель, разрушение; несчастье, катастрофа; бич, язва» [5. С. 580]. Как реальный факт, названный этим словом, термин *pestis* передает всю полноту его восприятия в период встречи с ним, имеющей личностные и социальные последствия для человека, общества и государства.

Далее мы основываемся на работах некоторых французских авторов, описывающих историю чумы, начиная с Вавилона, где *pestis* воспринималась как посещение людей божеством посредством заразы, которая была предпочтительнее, нежели потоп. Египтяне приписывали богине болезней и смерти Секхмет власть насылать чуму на людей. Папирус Смита содержит молитву, призывающую божества защитить от чумы, и представляет неопределенное описание эпидемии. В аккадском пантеоне богов присутствует божество чумы – Намтар. В хеттской литературе XIV в. до н.э. содержатся царские молитвы богам, обещающие принесение жертв, если они защитят от чумы. В Китае в XIII в. до н.э. колдуны оставили вопросы на лопаточной кости барана для владыки Ngan-Yang: «будет у нас в этом году чума и будут у нас смерти?». В Ветхом Завете эпидемии чумы упоминаются неоднократно. Это – пятая казнь египтян (Исход 9: 9–14); поражение чумой филистимлян за то, что они захватили Ковчег Завета и принесли его в храм Дагона (1 Царств 5:6; 6:18); чуму как наказание, выбрал царь Давид за свою гордость, от которой погибло семьдесят тысяч человек (2 Царств 24:14–16); чума, как меч Божий, поразила ассирийцев и заставила царя Сеннахирима отступить от Иерусалима; в псалмах это бедствие представляется как Божья кара злым людям, которые не останавливаются в своих злодеяниях. В «Илиаде» Гомера невидимые стрелы Аполлона поражают чумой воинов. Так, стрела стала символом чумы, что встречается также в славянской традиции. Фукидид описал чуму в Афинах. Лукреций же нарисовал ужасающую в своем натурализме картину чумы в Афинах. Тит Ливий упоминает эпидемии чумы. В Риме разразилась чума при правлении императора Нерона в 66 г. Вновь она появилась в 165 г. и была так определена Галеном: «...если болезнь поражает большое количество людей, то это – эпидемия; если большинство из них умирают – это чума». Римские императоры Марк Аврелий и Клавдий II умирают от чумы соответственно в 180 и 270 гг. Современными исследователями установлено три пандемии чумы. Начиная с 627 г. пятнадцать последовательных ударов чумы поразили Европу до конца VIII в. и каждый удар был хуже предыдущего. Она распространялась по морю, вдоль рек и останавливалась там, где заканчивались торговые пути. Демографические потери составили от 50 до 75 % от населения Европы, Африки, Ближней и Средней Азии. Пришли в упадок Византийская империя и Римская, ослабела Персия. Выжившее европейское население пребывало в состоянии хаоса, что облегчило арабское завоевание и распространение ислама. Начиная с этой пандемии чумы, ее воспринимали как божественное наказание за идолопоклонство, преклонение перед ложными богами, безверие, религиозные колдовские практики (заклятия, амулеты и пр.), а потому связывали с Богом, а не с дьяволом. Это отношение оставалось до конца второй пандемии, которая спустя шесть веков вновь охватила всю Европу. Будучи одновременно эндемичной и реимпортированной с Востока, чума наносила удары каждые восемь лет до 1536 г., затем каждые двенадцать лет до 1670 г. Последние вспышки чумы были: Марсель (1720–1722); восточная Европа, Малая Азия и Северная Африка (1742–1744); Россия (1771); Константинополь (1839); Египет (1844). Затем чума исчезает до появления третьей пандемии. Периодичность эпидемических циклов, как и причины исчезновения ее, остаются загадочными. Следует отметить, что до XVII в. этим тер-

мином называли болезни, одновременно уносившие жизни тысяч людей, а потому воспринимавшиеся как бич Божий, катастрофа, внезапно обрушившиеся на все общество. Так, за период 1348–1352 гг. волна эпидемии унесла двадцать пять миллионов человеческих жизней в Европе, третью часть ее населения. Население Франции настолько уменьшилось, что понадобилось двести лет, чтобы восстановить его доэпидемическую численность, поскольку к высокой смертности присоединилось резкое снижение рождаемости. Не имели значения ни состояние, ни общественное положение, ни возраст. Полное вымирание знатных аристократических семейств привело к реорганизации правящего класса. Например, семейство Медичи, остававшееся до той поры в тени, выступило на первый план. Чума нарушала властную структуру, заставляя покидать столичные резиденции монархов с их окружением. Оставленные богатые дома хозяевами, умершими или бежавшими, стали достоянием воров и грабителей, перед натиском которых оставшиеся городские службы были бессильны. В это мрачное время нашлись люди, сделавшие себе состояние, став своеобразными наследниками чумы. Смешение социальных слоев породило новый класс – буржуазию, в большинстве своем состоявший из невежественных и недалеких людей. Священники, которые обучали людей, погибли во время чумы, а на место этих эрудитов пришли невежды, алчные и неверующие люди, которые дискредитировали Церковь и христианство. Это было настоящее испытание веры, во время которого «святые», отвернувшись от Бога, предавались оргиям, а распутные, раскаиваясь, устремлялись к Богу. Чума была коллективным сотрясением, разрушившим нравственные, семейные и социальные устои, глубочайшей раной, отметившей человеческое сознание на последующие века. Чума царила во всех сферах жизни средневекового общества, поэтому ее идентифицировали с самой природой зла. В период второй пандемии появляется термин «карантин» (1377), связанный с библейским рассказом о сорокадневном пребывании в пустыне Христа перед началом его служения. Третья пандемия началась в Китае и начиная с 1855 г. стала распространяться по странам, ведущим торговлю морскими путями. И всегда чума сопровождалась войнами, народными волнениями, социальными расстройством, разного рода фальсификациями, которые использовались с целью устранения препятствий для торговли [22–24].

Если термин *pestis* изначально обозначал собственно болезнь, связанную с божественной силой, которая обрушилась на людей как бич, то термин *typhus* в древнегреческом языке обозначал «дым, чад; гордость, надменность, спесь» [10. Т. 2. С. 1657]. В своей завершенности термин *pestis* выступает как категория социальная, тогда как термин *typhus* раскрывается как категория поведенческая, с характерными чертами: гордость, надменность, спесь, через призму которых человек не в состоянии адекватно оценить действительность, сосредоточиваясь только на своем эго, находящемся в зависимости от обстоятельств, других людей и пр. Так он постоянно испытывает давление экзогенных факторов, порождающих внутренние страхи, беспокойство, тревогу, которые при нарастании, словно дым и чад, инфицируют его сознание, воздействуя на его разум, искаженно воспринимающий действительность.

Таким образом, суть языка медицины, выделенного в качестве объекта исследования, проявляется в идентификации знаков того, что присутствует в

человеческой жизни: смерть, боль, болезнь, тогда как сам человек идентифицируется как *Homo patiens*. Учитывая его противопоставленность общепотребительному языку в том, что он является результатом осмысления реальных фактов, разрушающих человеческую жизнь, появляется возможность сравнить его со своеобразным документом, свидетельствующим о состоянии человечества. Части этого документа представлены в разных разделах медицинского знания. Такое понимание языка медицины основано на идее Ф. Соссюра, касающейся представления вообще языка, выполняющего роль документа, который является продуктом деятельности социальных сил [25]. В нашем контексте социальные силы представлены сообществом поколений врачей. Тогда, развивая идею Соссюра, на основе «Сказа» по М. Хайдеггеру, продуктом этой деятельности является терминогенез, который, как основополагающее свойство языка медицины представляет собой ее хронологическую летопись, которая соединяет в себе общечеловеческое и медицинское, социальное и индивидуальное, временное и пронизывающее исторические эпохи. Эта летопись представляет собой духовное наследие ушедших поколений, зафиксированное в терминах. Сам термин, с учетом его культурно-исторических истоков, берущих начало в инвариантной идее закона границ, относящегося к установленному порядку в мире, в котором каждая чувственно воспринимаемая вещь имеет свое место, определяемое фактором времени, выполняет методологическую функцию, действующую на уровне познания, и социально-философскую, действующую на уровне мировоззрения. Действуя на уровне языка медицины, эти взаимосвязанные функции способствуют упорядочиванию медицинского знания, не допуская искажения смысла терминов, входящих в терминогенез как летописи медицины, выступающей достоверным свидетельством истории существования *Homo patiens*, человека страдающего.

Литература

1. Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 2006.
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 2001.
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. О.Н. Трубачева. М., 1986.
4. Леонардо да Винчи. О науке и искусстве / Пер. с итал. СПб., 2005.
5. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М., 1996.
6. Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления / Пер. с нем. В.В. Библихина. СПб., 2007.
7. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 2008.
8. Абу Али ибн Сина. Канон врачебной науки. Избранные разделы. Ташкент: Фан, 1985.
9. Абхинавагупта. Основы теории мантр. Метафизика звука согласно трактату «Паратришика-виварана» / Пер. с санскр. с разъясн. Джайдева Сингх; испр. санскр. текста Свами Лакшманджи; ред. англ. текста Беттина Баумер; пер. с англ. М., 2006.
10. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. М., 1958.
11. Sendrail M. Histoire culturelle de la maladie. Toulouse, 1980.
12. Hennezel M. La mort intime. / préf. de F. Mitterand. Paris, 1995.
13. Болтаев М.Н. Абу Али Ибн Сина – великий мыслитель, ученый энциклопедист средневекового Востока. М., 2002.
14. Rey R. Histoire de la douleur / postf. inédite de J.-L. Fischer. Paris, 2000.
15. Grand dictionnaire Etymologique et Historique du français. Paris, 2005.

16. *Новая философская энциклопедия*: В 4 т. М., 2010.
17. *Поппер К.Р.* Объективное знание. Эволюционный подход / Пер. с англ. М., 2002.
18. *Флоренский П.* Имена // Флоренский П. Сочинения. М., 2006.
19. *Кребель И.А.* Территория предела: Эстетика мысли русского модерна. М., 2011.
20. *Лейбниц Г.В.* О словах / Пер. с фр. П.С. Юшкевича. М., 2010.
21. *Biblia Sacra Vulgata*. Deutsche Bibelgesellschaft, 2007.
22. *Klener L.M.* Saint Roch et la peste: Contexte historique et iconographie / Thèse pour le doctorat. № 29. Strasbourg: Université Louis Pasteur, 1970.
23. *Brossolet J.* Sur quelques traces des anciennes épidémies de peste dans la langue et la légende. *Vie et language*. 1971; 226. P. 99–106.
24. *Lombard J., Vandewalle B.* Philosophie de l'épidémie. Le temps de l'émergence. Paris, 2007.
25. *Соссюр Ф.* Курс общей лингвистики / Пер. с фр. А.М. Сухотина. М., 2006.